

Александр ДОРОШЕНКО БЕДНЫЙ НАШ ЙОРИК



Михайловская улица,
номер первый, примерно 1949 год

В "небесах моего Вифлеема" если и горели знаки, то говорили они о прошедшей войне, бедности и утратах. Мальчишками на громадных наших молдавских дворах мы играли в войну, и лучшими игрушками у нас были стреляные гильзы. Их было много на многочисленных развалках разбомбленных домов. Такие развалки были на каждой улице. Остатки разрушенных домов оплывали, обрастали мусором, зарастали травами. Зимой там были места, где мы делали "скользанки" для ног и санок. Все санки тех времен были самодельными. Пару раз на чердаках мы находили немецкие "шмайсеры", но взрослые их немедленно отбирали. Трофейные, роскошные изгибов и форм, стояли в наших дворах "Мерседесы-Бенцы", и были они много привычнее только что появившихся отечественных "Побед". Странность в том, что формы этих машин предшествовали моему приходу в жизнь, но все, что произошло с их изменением в течение моей жизни, мне чуждо. Что-то оказалось утраченным. Там, в тех ушедших овалах и переходах, и романтических крыльях "Мерседес-Бенцев" и "Роллс-Ройсов", и "Хорьхов" была прагматичность аэродинамики и удобства подножек, но кроме было что-то еще, более важное, чем вся прошедшая и нынешняя прагматичность, утерянное с тех времен и пока навсегда.

В тех машинах была аристократичность, достоинство духа и высота самооценки, нынешние стали просто транспортом, средством перемещения, символом нашей неуемной поспешности.

У меня сохранилась фотография тех времен, на ней мне пять-шесть лет. Этот снимок сделан у нашего палисадника, видимо, отцом или мамой. Стою я рядом с двумя своими кошками с нашего двора и одеждой ничуть среди них не выделяюсь, хотя семья наша была благополучнее многих. Только шапка на мне необычна — кожаная летчицкая шапка, отороченная мехом и с длинными наушниками (так выглядят уши у спаниеля, но в те поры мы не знали никаких породистых собак, а любили своих, дворовых, смелых и верных псов). Шапка эта была моя гордость — такой не было ни у кого!

Мы пришли в странный мир, полный призраков и фантомов. Прямо за воротами моего дома, через дорогу и наискосок была развалка обувной фабрики. Мы там находили обрезки кожи. За угол и влево, по периметру Зеленого сада, через два дома, с фасадами, поставленными полукругом, была еще одна, намного большая развалка. Через сад, как по стрелке компаса, отклонившейся к северу наши сердца, развалок было подряд несколько, там выпали из чрева самолета сразу несколько

ко бомб. На той развалке в подвалах домов жили строители-немцы, военнопленные, а вся территория была обнесена колючей проволокой. Кто такие эти немцы, чего они здесь делают, почему ходят под охраной из автоматов, почему здесь упали в обмороке дома, мы не понимали и не стремились тогда понять. Мы брали мир, каким он был в момент нашего прихода на землю, прямо со страниц Библии.

Левый от меня на этом черно-белом снимке (цветных мы не ведали еще много лет), в центре, стоит Йорик. Он старше был меня на год-два, и мы росли вместе. Он был сын немки, жившей в нашем дворе и до войны, дворничихи, а отцом его, видимо, была "дворовая пыль".

*"Имяреку, тебе,
сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого,
то ли поднятой пыли дворовой"*

Имя его я узнал много позже, удивившись обыденности, — Александр. (Его звали Шура. Есть загадка, почему при одинаковом полном имени Александр разнятся уменьшительные имена — Саша и Шура, — и никогда это случайностью не бывает, нет пересечений и случаев, чтобы кого-то звали обоими этими именами. Нет, — либо Саша, либо Шура!) Но все детские годы мы звали его, наш двор и вся Михайловская улица, сверстники наши, — Йориком.

Как это могло случиться, не постигаю: о Шекспире, а тем более о Стерне, знал разве что мой родитель, остальные взрослые в нашем дворе если и слышали, то разве лишь имя, не больше. Дети, мы, даже я, еще много лет, конечно, никогда не слышали эти слова шекспировы — "Бедный Йорик!". Так откуда же это взялось? Но именно так его мы звали и уже позже, прочтя имя это у Шекспира, я удивился, откуда это у него нам одним известное имя?

Прочтя у Лоренса Стерна, я удивился вновь, но уже цепочке ассоциаций, от шекспировского шута к стерновскому священнику, а третьим в этой последовательности шел мой дворовой кореш Йорик. Мудр и весел был шекспировский Йорик. Человечен и добр, наивен и трогателен был стерновский молодой священник, местный интеллигент и диссидент глухой английской провинции, а мой Йорик был таким же, как я, как этот, с нами стоящий на снимке Борька Вердыш из одноэтажного флигеля. Фамилию Йорика я не помню, и это естественно, — Йорик и не мог иметь фамилии.

(Так интересно и так характерно — стоят мальчишки, молдаванин, немец по матери, и я, в те времена еще неопознанный национальный объект, потом в первых классах шко-

лы Шапиро-Дорошенко, потом просто Шапиро, и наконец, Дорошенко, выросший в результате этого жизненного пути русским интеллигентом в стране, где слово "интеллигент" всегда было подозрительнее ясного слова "еврей", и где чаще всего эти понятия совпадали.)

Йорик — это гаерский глуховатый и насмешливый голос могильщика, рассматривающего знакомый череп, это сентенции странного молодого священника, мудрого и ранимого, однажды определившего порочную суть нашего исторического процесса словами: "называть значит не доверять". Это голос моего приятеля Йорика, гонящего в высоте неба своих голубей.

Впрочем, боюсь, что мы в те времена, мальчишки послевоенных лет, еще на границах школы, мы это имя произносили и кричали иначе — Ёрик!

— Ёрик, на заборе кошка!

Кошка подбиралась к ёрикиной голубиной будке по забору пожарной части. Когда Ёрик нагнулся за камнем, ее уже на заборе не было. Наши кошки знали правила жизни и что-то еще, нам неизвестное. Они проявлялись в пространствах и временах, существуя одновременно в разных, — на кис-кис вот она здесь и рядом, — на поднятый с земли камень ее не было и не будет. Мы учились у них, приглядкой, как и всему главному в нашем большом дворе на Молдаванке.

(В этом отношении у кошки чисто еврейские повадки.)

Школы Йорик одолел, я думаю, не более четырех классов. А затем волею судьбы и обстоятельства прошел он путь многих из моих дворовых приятелей, если не большинства. Где-то в пятнадцать попал впервые в колонию за воровство и потом всю жизнь провел в тюрьмах. Перерывы в сумме были много меньше времени отсидок.

*"Имяреку, тебе...
белозубой змее
в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу
и телу бессчетных постелей"*

Но с детства он полюбил голубей.

Тогда в каждом молдаванском дворе была как минимум одна голубятня. И держали почтовых голубей. Была она деревянной с высокой островерхой крышей, обитой поперечно расположенными планками для удобства голубиного, со всякими хитроумными дверцами, подъемными канатиками (в частности, для ловли чужих, заманенных голубей). Все строение было двух-трехъярусным а сам домик голубятни был высоко поднят над землей.

Над нашими дворами высоко в небе всегда летала голубиная стая. Среди голубей этих были почтари, и их, увезя куда-нибудь далеко от дома, на Фонтаны или Отраду, там выпус-

кали. Голуби всегда и легко находили дорогу домой. Набрав невероятную высоту, они узнавали свой дом — и летели домой! Кто сказал, что только орел может так видеть землю с заблаженных высот? Это может и маленький почтовый голубь. Теперь не стало любителей, или очень мало их осталось. Я уже не вижу во дворах голубиных будок. Но на охотничьем рынке, на Староконном базаре, их по-прежнему продают, и значит, это кому-нибудь нужно.

Возвращаясь из очередной отсидки, Йорик вновь заводил голубей. В его отсутствие они куда-то исчезали. Голубятня стояла пустой, а была она из самых крупных в нашем районе. Он быстро обрастал голубями, и это вызвало большой естественный интерес у многочисленного кошачьего населения нашего и всех близлежащих дворов. С котами Йорик вел непримиримую войну, и уж не знаю, как он этого достигал, но бесстрашные наши коты обходили территорию его голубятни стороной, отворачиваясь и демонстрируя полное отсутствие интереса к вопросу. Они переклювались на голубей, которых держали в пожарной части, благо она была через стену от нашего двора.

А Йорик сидел целыми днями на крыше своей голубятни и смотрел в небо, там летели его голуби. Потом исчезал вновь. И возвращался. В одно из возвращений он даже завел жену, но в отличие от голубей, долго она не удержалась. Мне помнится, он даже не пил, пьяным я его никогда не видел. Во дворе его, в общем, любили. Он был наш, он вырос на глазах всех, и он хорошо себя вел. В нашем дворе выросло много воров, тюрьма не могла компенсировать их естественный постоянный прирост, но у себя во дворе они никогда не воровали, и чужие вору к нам не заявлялись. В этом смысле в нашем дворе царила патриархальная тишина.

Потом я покинул двор и много лет Йорика не встречал, но мне рассказывали дворовые новости. Он умер сравнительно молодым, большую часть жизни просидев по тюрьмам, но лучшую, пусть и короткую, проведя в небе, со своими голубями. Это все, что ему было даровано, и, если подумать, это было не так уж мало. Вместе с Шекспиром и повторившим его Лоренсом Стерном скажем и мы — "Бедный Йорик!".

Я уверен, это третье в мировой истории появление человека с именем Йорик, причем оба первых, и шекспировский шут, и стерновский священник, были вымышленные герои, а этот был живой и подлинный, жаль только, что ему так не повезло со временем рождения, страной и с автором, и никто не рассказывал его и нашу жизнь.

*"да лежитя тебе,
как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле,
местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь,
как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть
в параднике Третьего Рима..."*

Я не знаю, где он лежит в вечном покое. Не думаю, чтобы там был памятник или простой камень. Мало кто им, Йориком, интересовался при жизни, чтобы заботиться за ее краем.

"Понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке", — это единственный способ верного понимания, все остальное глупость.

Но вот интересно, какие сны ему снятся? Он заслужил сны, и если там есть справедливость, он во снах своих тих и спокоен. Он забыл о несправедливо подмененной судьбе, о косноязычной матери-дворничихе, обо всех этих лагерях и тюрьмах, которые только и видел. Он слов тех подлых, которым был научен людьми еще в детстве, не помнит, да и не нужны ему там слова. Он видит себя в небесах (мало кто так часто смотрел в небо, как он), в потоке ласкового света, омывающего его наконец-то чистое тело, на нем белоснежная рубашка (странен и удобен ее покрой, она и длинна и необременительна в движениях, она, струясь, омывает тело, его лаская), а вокруг кувыркаются и несутся голуби, почтовые, турманы и еще разные, названия которым он знал, вместе с ним, Йориком, в одном счастливым потоке.

Как весело, как хорошо, как радостно!

Я верю, что это так, потому что если это иначе, если он, Йорик, и там всего лишен, то это по-настоящему плохо, и что-то там наверху очень неблагоприятно!

*"Пора! Полощет плат крылатый —
И разом улетают в гарь
Сизоголовый и хохлатый,
И взмывший веером почтарь."*

*Лишь голуби да голубая
Вода. И мол. И волнолом.
Лишь сердце, тишину встречаю,
Все чаще ходит ходуном..."*

Эдуард Багрицкий.
"Голуби"